

МЫСЛИ О МАКБЕТЕ, трагедии Шекспира³

Для того, кто неохотник до так называемых общих мест, довольно трудно после Лессинга⁴, Гёте, Шлегеля⁵ и других великих критиков рассуждать о творениях, каковы “Гамлет”, “Ромео и Юлия”, “Лир”, “Ричард III” и наконец “Макбет”. Прибавим, что о “Макбете” почти еще труднее сказать что-нибудь новое, нежели о прочих, помянутых нами великих созданиях Шекспирова гения. Возьмем для примера “Гамлета”, который по прекрасному переводу г. В-ка⁶, без сомнения, теперь уже известен всякому русскому читателю: философия в сей трагедии так глубока, характер героя и все его поступки, или, лучше сказать, все, что с ним сбывается (ибо отличительная черта в Гамлете именно его бездейственность), начертаны с таким необыкновенным знанием сердца человеческого, таким вдохновенным знанием путей Провидения, что оценить вполне сие творение даже умный читатель может не вдруг; а критик всегда найдет в нем повод к пояснениям, исследованиям, изложениям красот, неудовлетворительно еще рассмотренных его предшественниками. В некоторых академиях Италии в старину находился особенный профессор, которому поручалось толковать Дантеву “Divina Commedia”; таким толкованиям можно бы подвергнуть не без успеха и “Гамлета”, хотя пределы оного и направление менее

дидактическое, конечно, представляли бы изысканиям поле не столь обширное. “Макбет” же, напротив, поразит с самого начала всякого: красоты его большею частью таковы, что и простолюди<н> и ученый, и прозаик и поэт, и свободный романтик, и даже подобострастный поклонник прежней французской школы *должны* их признать, сколь бы тому ни противились их предрассудки, *должны* их почувствовать, хотя, конечно, и не в равной степени, с живостию не одинакою. Естественно, что подобная поэма легче может быть понята, нежели “Гамлет”, писанный, можно сказать, только для известного круга читателей; естественно, что над оною скорее истощится критика. Сим нимало не думаем унижить достоинство “Макбета”, высокое, неколебимое. Если

97

в “Гамлете” — в чем нет сомнения — более глубокомыслия, в “Макбете” не в пример более силы, движения, возвышенности. В “Гамлете” Шекспир является преимущественно философом, в “Макбете” он первый, величайший (может быть) поэт романтический.

Но окончим сие сравнение: сравнения, *параллели* увлекают в общие места, а их-то избегать мы были намерены. Не станем также говорить о чертах в последней трагедии, подобных которым довольно было бы и одной, дабы обессмертить имя другого писателя; таковы, напр., первая встреча Макбета и Банко с вещими

сестрами, монолог Макбета перед первым своим злодеянием, разговор его с женою после оногo, явление Банковой тени, Макдуф, узнающий о гибели своего дома, леди Макбет в припадке лунатизма — все сии черты известны, можно сказать, целому свету и так превосходны, высокое их достоинство так очевидно, что всякая похвала, всякое пояснение тут были бы совершенно излишними. Нам остается только обратить внимание на немногие места, которые, при первом чтении, произвели в нас ощущение неприятное, но красоту, необходимость которых признать мы нашлись принужденными по размышлении зрелейшем.

Мест сих не более трех: во-первых, монолог и неблагопристойные шутки привратника тотчас по убиении короля; потом чопорный разговор лордов, не знающих еще о смерти Дункана; наконец, в IV-м действии неуместный, ни с чем, по-видимому, не связанный приход английского врача, прерывающий беседу Макдуфа с Малькольмом.

“К чему,— так думали мы,— после предшествовавших ужасов сии шутки грубого, пьяного привратника, шутки ничуть не остроумные? не охладят ли они читателя?” — Читателя? но драматическое творение создается более для зрителей, нежели для читателей. Вообразим, что мы в театре: Макбет и жена его поспешно вышли, услышав стук; последние слова Макбета были:

“Проснись от стука, Дункан, о! проснись!”

Сцена не переменяется: она та же, свидетельница величайших ужасов, мелькнувших перед очами нашими; стук, пробудитель страха в душе убийцы и злодейки жены его, продолжается. Между тем является привратник, ничего не знающий, ничего не подозревающий, вполнину еще одержимый сном и винными парами; он хладнокровно остерится, шутит, говорит нелепости. Зритель невольно вздрагивает: шутки привратника рассмешат разве того, кто не видал, не слышал ничего из всего, что мы видели, что мы слышали, при чем мы присутствовали. Нас, напротив, они приведут в больший еще трепет: тленность, ничтожество всего, и величайшего земного, стеснит сердца наши. Привратник предстанет нам представителем вообще черни, не знающей, не постигающей хода таинственного рока, слепой и готовой упиться низкими наслаждениями, даже под ударами судеб, которые грозят всему миру превращением.

98

Следующий за сим разговор придворных представляет подобную картину. Все в этом разговоре гладко, вежливо, пошло и ежедневно, между тем стена, одна стена отделяет их от неслыханного, чудовищного!

Наконец помянутый приход врача и все, что говорит он о чудесных даяниях неба королю Эдуарду, истинно шекспировски возвещает Малькольму помощь Божию, помощь

**сверхъестественную, ибо сей-то святой король,
сей угодник Господа ополчится за него.**